

ПАУЛО КОЭЛЪО



ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ

СОХРАНИ

Annotation

О чем эта книга? Просто о жизни, о смерти, о любви. И о том Безумии, избавляться от которого нельзя ни в коем случае... «Вероника решает умереть» — это реалистическая история о жажде жизни перед лицом смерти, призывающая воспринимать каждый день как чудо.

*Пресвятая Дева, без греха зачавшая,
моли Бога о нас,
да не постыдимся в уповании на Тебя.*

*Се, даю вам
власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражью,
и ничто не повредит вам.*

Евангелие от Луки 10:19

*Посвящается С. Т. де Л., который мне помогал, а я и не подозревал
об этом*

Одиннадцатого ноября 1997 года Вероника окончательно решила свести счеты с жизнью. Она тщательно убрала свою комнату, которую снимала в женском монастыре, почистила зубы и легла в постель.

* * *

Со столика в изголовье она взяла таблетки — четыре пачки снотворного, — но не стала жевать горстями, запивая водой, а решила глотать по одной, поскольку велика разница между намерением и действием, а ей хотелось оставить за собой свободу выбора, если на полпути она вдруг передумает. Между тем с каждой проглоченной таблеткой Вероника все больше укреплялась в своем решении, и через пять минут все пачки были пусты.

Не зная, сколько времени потребуется, чтобы потерять наконец сознание, Вероника взялась за журнал — последний номер «Нотте», прихваченный из библиотеки, где она работала. Хотя компьютеры нисколько не занимали Веронику, однако, листая журнал, она наткнулась на статью о новой игре из тех, что продаются на компакт-дисках, созданной Пауло Коэльо. Это был бразильский писатель — тот самый, с которым она случайно познакомилась на читательской конференции в кафе при гостинице Гран-Юнион. Они обменялись парой слов, и в конце концов его издатель пригласил ее на ужин. Но народу собралось много, и познакомиться поближе им не удалось.

Один лишь факт знакомства с писателем, о котором, словно нарочно, оказалась попавшаяся на глаза статья, навел ее на мысль, что этот человек каким-то образом является частью ее мира; во всяком случае, чтение поможет скоротать время. В ожидании смерти Вероника принялась читать об информатике — предмете, к которому не питала ни малейшего интереса. Впрочем, так она поступала всю жизнь, по возможности избегая трудностей, предпочитая брать то, что попадется под руку. Этот журнал, к примеру.

Как ни странно, первая же строка вывела ее из привычного безучастного равновесия (снотворное еще не успело раствориться в желудке, но Вероника и так была пассивной по природе) и заставила впервые в жизни задуматься над истинным смыслом фразы, столь

популярной среди ее друзей: «Ничто в этом мире не происходит случайно».

Почему эта строка попала на глаза именно сейчас, когда жить осталось несколько минут? Если это не случайное совпадение, то как понимать посланный ей знак, — если, конечно, предположить, что это скрытое послание и что не бывает случайных совпадений?

Текст под иллюстрацией к компьютерной игре начинался вопросом:

«Где находится Словения?»

Боже мой, подумала она, *никто ничего не знает о Словении, даже где она находится.*

И однако Словения несомненно существовала, она была снаружи, внутри, она была горами на горизонте, городской площадью в окне. Словения была родиной Вероники, ее страной.

Вероника отложила журнал: какой смысл возмущаться этим миром, который знать не знает о самом существовании словенцев; честь и гордость нации — все это теперь для нее пустые слова. Пришло время гордиться собой, узнать, на что ты способна, — наконец-то ты проявила мужество, покидая эту жизнь. Какая радость! К тому же сделала это именно тем способом, о каком всегда мечтала, — при помощи таблеток, которые не оставят следов.

Эти таблетки Вероника искала почти полгода. В опасении, что так их и не найдет, она даже начала обдумывать другой способ — вскрыть себе вены. Не важно, что кровью будет залита вся комната, поднимется переполох, да и монахины окажутся просто в шоке: самоубийство — твое личное дело, до других тебе дела нет. Она сделала бы все возможное, чтобы никого не обременять своей смертью, но если вскрыть вены — единственный выход, то нет выбора: все равно монахины, вымыв комнату, уничтожив малейшие следы крови, вскоре забудут об этой истории, если только слух о ней не отпугнет новых постояльцев. Что ни говори, даже в конце XX века люди все еще верят в привидения.

Конечно, можно было бы, скажем, просто броситься с крыши одного из немногих высотных зданий Любляны, но какие страдания вызовет такой поступок у ее родителей! Мало того потрясения, которое они испытают при известии о смерти дочери, — их еще и потащат на опознание ее изуродованного тела. Нет, такой выход из положения еще хуже, чем истечь кровью: воспоминание, которое об этом останется в душах тех двоих, которые всю жизнь желали ей только добра, будет просто невыносимым.

С самой смертью дочери они в конце концов смирятся, но забыть разmozженный череп? — Нет, невозможно.

Застрелиться, броситься с крыши, повеситься — против всего этого протестовала сама ее женская природа. Женщины выбирают более романтичные способы самоубийства: глотают снотворное пачками или режут себе вены. Тому имеется великое множество примеров — голливудские актрисы, состарившиеся топ-модели, покинутые мужьями особы королевских кровей.

Вероника знала, что жизнь — это всегда ожидание того часа, когда дальнейшее зависит лишь от твоих решительных действий. Так получилось и на этот раз: два приятеля, тронутые ее жалобами на бессонницу, раздобыли у музыкантов в местном кабаре по две пачки сильнодействующего снотворного. Все четыре пачки отлеживались на ночном столике в течение недели, чтобы Вероника успела полюбить близящуюся смерть — и без всяких сантиментов проститься с тем, что называется «жизнь».

И вот она здесь, довольная тем, что пошла до конца, но и томимая неизвестностью с примесью скуки, не зная, чем заполнить последние минуты своей жизни.

Она вновь подумала о нелепости только что прочитанного: как вообще статью о компьютерах можно начинать с такой идиотской фразы — «Где находится Словения?».

Но делать все равно было нечего, и Вероника решила дочитать статью до конца. Дальше

речь шла о том, что упомянутая компьютерная игра была разработана и производилась в Словении — той самой диковинной стране, о которой якобы никто ничего не знает, кроме ее жителей.

На самом же деле Словения была источником дешевой рабочей силы для всей Европы. Пару месяцев назад одно французское предприятие, запустившее в Словении производство компакт-дисков, устроило шикарную презентацию в старинном замке в городе Блед.

Вероника что-то слышала об этой презентации, которая для города стала, разумеется, настоящим событием. Ради воспроизведения средневековой атмосферы для какой-то сногшибательной компьютерной игры замок был специально отреставрирован, а на саму презентацию, вокруг которой в местной прессе разгорелась жаркая полемика, пригласили немецких, французских, английских, итальянских, испанских журналистов — и уж конечно ни одного словенца.

Обозреватель «Номме», — впервые приехавший в Словению (наверняка с полностью оплаченной командировкой), — скорее всего, занимался тем, что развлекал прочих коллег-журналистов забавными, на его взгляд, историями, пил-ел в свое удовольствие, а статью решил начать с шутки, которая должна была понравиться заумным интеллектуалам в его стране. Он, должно быть, даже рассказал своим приятелям в редакции несколько невероятных баек о местных обычаях да о том, как плохо одеты словенские женщины.

Впрочем, это его проблемы. Вероника умирала, и ей следовало бы занять свои мысли вопросами поинтересней: удастся ли узнать, есть ли жизнь после смерти, или как скоро обнаружат ее тело. Тем не менее — а может, именно по причине важности принятого ею решения, — статья вызывала раздражение.

Она взглянула в окно, на небольшую люблянскую площадь.

Если они не знают о Словении, то Любляна для них вообще просто миф.

Как Атлантида, Лемурия или другие пропавшие континенты, будоражащие воображение человека. Ни один серьезный журналист не начал бы статью с вопроса, где находится Эверест, даже если никогда там не был. И однако обозреватель издаваемого в самом центре Европы солидного журнала не постеснялся начать статью с подобного вопроса, поскольку был уверен, что большинство его читателей в самом деле понятия не имеют, где находится Словения. А тем более — Любляна, ее столица.

И тут Веронику осенило, чем заполнить оставшееся время, — она все еще не чувствовала в своем организме каких-либо изменений, хотя прошло уже десять минут. В завершение своей жизни она напишет в этот журнал письмо, где невеждам бы растолковывалось, что Словения, да будет вам известно, — это одна из пяти республик, возникших в результате распада бывшей Югославии.

Итак, вместо традиционной пояснительной записки останется письмо, письмо для отвода глаз, чтобы скрыть от ненасытного человеческого любопытства подлинные мотивы ее самоубийства.

Обнаружив тело, будут вынуждены прийти к заключению: она покончила с собой потому, что какой-то журналист не знает, где находится ее страна. Вероника невольно усмехнулась при мысли о том, какая бурная полемика начнется в газетах, какой поднимется тарарам вокруг «за и против» ее самоубийства во имя национальной идеи. При этом Вероника с удивлением отметила, до чего незаметно переменялся ход ее мыслей: минуту назад она не сомневалась, что все человечество со всеми своими проблемами ее больше не касается.

И вот письмо готово. Вероника даже развеселилась, так что и умирать почти

расхотелось, — да только таблетки уже приняты и возврата нет.

Для Вероники, кстати, такие минуты прекрасного расположения духа не были редкостью, да и вообще она решила покончить с собой вовсе не оттого, что была меланхолической натурой — из тех, кто постоянно пребывают в депрессии и едва не с самого рождения склонны к самоубийству; нет, ее случай совсем иной. Бывало, Вероника с неизменным удовольствием целыми днями бродила по улицам Любляны или подолгу заворожено смотрела из окна своей комнаты, как падает снег на маленькую площадь со статуей поэта в центре. А однажды на этой самой площади ей подарил цветок какой-то незнакомый мужчина — и Вероника почти целый месяц чувствовала себя так, словно у нее выросли крылья. Да и вообще Вероника всегда считала себя человеком абсолютно нормальным; что ж до решения покончить с собой, то оно было принято по двум очень простым причинам. Она была уверена, что если бы оставила прощальную записку, то многие согласились бы с этим ее шагом.

Причина первая: жизнь утратила краски, и теперь, когда миновала юность, все пойдет к закату: неумолимыми знаками на лице все более явно будет проступать близкая старость, придут болезни, будут уходить друзья. В конце концов, что бы она выиграла, продолжая жить, ведь с каждым годом жизнь становилась бы все мучительнее и невыносимей.

Вторая причина была скорее философской: Вероника читала газеты, смотрела телевизор, была в курсе всех новостей, всех событий. Что ни происходило в мире — все было не так, и она не знала, как можно в нем что-либо изменить, и уже от одного этого опускались руки, она чувствовала себя никому в этом мире не нужной, бесполезной, чужой.

Вскоре ей откроется последняя в ее жизни тайна, тайна смерти. Потому-то, написав письмо в журнал, Вероника тут же о нем забыла: сейчас речь шла о том, что несравненно более важно: жизнь и смерть.

Вскоре она откроет последнюю в своей жизни тайну, самую непостижимую, самую невероятную: тайну смерти. Написав письмо в журнал, она тут же забыла о нем, сосредоточившись на вопросах, более соответствующих тому, что она сейчас переживала или, скорее, «пере-умирала».

Она попыталась как можно наглядней представить себе собственную смерть, но ничего не получалось.

Да и потом — к чему? Все равно через несколько минут она узнает, что там, за порогом смерти.

Через несколько — это через сколько?

Неизвестно. Но на мгновение Веронику привела в восторг сама мысль о том, что вот-вот — и она получит ответ на вопрос, не дающий покоя человечеству с тех пор, как оно существует: есть ли Бог?

Вероника, в отличие от многих других людей, никогда серьезно не задумывалась над этим вопросом. При старом, коммунистическом строе официальное воспитание требовало признать, что жизнь заканчивается со смертью, и она в конце концов смирилась с этой мыслью. С другой стороны, поколения ее отцов и дедов посещали церковь, молились и совершали паломничества, и были убеждены, что Бог им внимлет.

В свои 24 года, пережив все, что ей было отпущено пережить, — а это на самом деле не так уж мало, — Вероника была почти уверена, что со смертью всему приходит конец. Поэтому она выбрала самоубийство — свободу от всего. Вечное забвение.

Однако в глубине души тлело сомнение: а если Бог есть? Тысячи лет цивилизации наложили табу на самоубийство, оно осуждается всеми религиями: человек живет, чтобы бороться, а не сдаваться. Род человеческий должен продолжаться. Обществу нужны рабочие

руки. Семье нужен повод, чтобы жить вместе, даже когда любовь ушла. Стране нужны солдаты, политики, артисты и художники.

Если Бог существует — во что я, правда, не верю, — Он должен знать, что есть предел силам человеческим, предел человеческому пониманию. Ведь разве не Он создал этот мир со всей его безнадежной неразберихой, с его ложью, наживой, нищетой, отчужденностью, несправедливостью, одиночеством. Несомненно, Он действовал из лучших побуждений, но результаты оказались довольно-таки плачевными. Итак, если Бог есть, Он должен быть снисходителен к тем своим творениям, которые хотят пораньше покинуть эту Землю, а может быть, даже попросить у них прощения за то, что заставил ходить по ней.

К черту все табу и суеверия! Ее набожная мать говорила: Бог знает прошлое, настоящее и будущее. В таком случае Он, посылая ее в этот мир, заранее знал, что она закончит жизнь самоубийством, и Его не должен шокировать такой поступок.

Вероника почувствовала приближение дурноты, которая затем начала быстро усиливаться. Спустя несколько минут она уже с трудом различала площадь за окном.

Она знала, что была зима, около четырех часов дня, и что солнце скоро сядет. Она знала, что другие люди будут продолжать жить. В этот момент мимо окна прошел молодой человек и взглянул на нее, совершенно не осознавая, что она умирает.

Группа боливийских музыкантов (а где Боливия? Почему в журнальных статьях не спрашивается об этом?) играла у памятника Франце Прешерну, великому словенскому поэту, который оставил глубокий след в душе своего народа.

Доживет ли она до конца этой музыки, доносившейся с площади? Это было бы прекрасной памятью об этой жизни: наступающий вечер, мелодия, навевающая мечты о другой части света, теплая, уютная комната, красивый полный жизни юноша, который, проходя мимо, решил остановиться и теперь смотрел на нее. Она поняла, что таблетки уже начали действовать и что он — последний человек, которого она видит в жизни.

Он улыбнулся. Вероника улыбнулась в ответ — теперь это не имеет значения. Тогда парень помахал рукой, но Вероника отвела взгляд, сделав вид, что смотрит на самом деле не на него, — молодой человек и так уже слишком много себе позволил. Помедлив, он в явном смущении зашагал дальше, чтобы вскоре навсегда забыть увиденное в окне лицо.

Веронике было приятно в последний раз почувствовать себя желанной. Она убивала себя не из-за отсутствия любви. Она умирала не потому, что была нелюбимым ребенком в семье, не из-за финансовых трудностей или неизлечимой болезни.

Как хорошо, что она решила умереть в этот чудесный люблянский вечер, когда на площади играли боливийские музыканты, когда мимо ее окна проходил незнакомый парень, и она была довольна тем, что видели напоследок ее глаза и слышали ее уши, а еще больше — тем, что в последующие тридцать, сорок, пятьдесят лет ничего этого не увидит и не услышит. Ведь даже самые прекрасные воспоминания рано или поздно оборачиваются все тем же унылым и нескончаемым трагическим фарсом, который называют жизнью, где без конца повторяется все то же и каждый день похож на вчерашний.

В желудке забурлило, и теперь ее самочувствие стремительно ухудшалось.

Ну надо же, — подумала она, — а я-то рассчитывала, что сверхдоза снотворного моментально погрузит в беспамятство.

В ушах возник странный шум, голова закружилась, потянуло на рвоту.

Если меня стошнит, умереть не получится.

Чтобы не думать о спазмах в желудке, она пыталась сосредоточиться на мыслях о быстро наступающей ночи, о боливийцах, о закрывающих лавки и спешащих домой торговцах. Но шум в

ушах все усиливался, и впервые после того, как она приняла таблетки, Вероника испытала страх, жуткий страх перед неизвестностью.

Но это длилось недолго.

Она потеряла сознание.

Когда Вероника открыла глаза, первой мыслью было: «Что-то на небеса не похоже». На небесах, в раю, вряд ли пользуются лампами дневного света, а уж боль, возникшая мгновением позже, была совершенно земной. Ах, эта земная боль, она неповторима — ее ни с чем не спутаешь.

* * *

Она пошевелилась, и боль стала сильнее. Появился ряд светящихся точек, но теперь Вероника уже знала, что эти точки — не звезды рая, а следствие обрушившейся на нее боли.

— Очнулась наконец, — сказал чей-то женский голос. — Радуйся, милочка, вот ты и в аду, так что лежи и не дергайся.

Нет, не может быть, этот голос ее обманывал. Это не ад, ведь ей было очень холодно, и она заметила, что у нее изо рта и из носа тянутся какие-то трубки. Одна из этих трубок, проходившая через горло внутрь, вызывала у нее ощущение удушья.

Она хотела выдернуть трубку, но обнаружила, что руки у нее связаны.

— Не бойся, я пошутила: здесь, конечно, не ад, — проговорил тот же голос. — Здесь, может быть, похуже ада, хотя лично я там никогда не бывала. Здесь — Виллете.

Несмотря на боль и удушье, Вероника за какую-то долю секунды поняла, что с ней произошло. Она хотела умереть, но кто-то успел ее спасти. Кто-то из монахинь, а возможно, подруга, вздумавшая явиться без предупреждения. А может, просто кто-то зашел вернуть давний долг, о котором сама она давно забыла.

Главное — она осталась жива и сейчас находится в Виллете.

Виллете — знаменитый приют для душевнобольных, пользующийся недоброй славой, — существовал с 1991 года, года обретения Словенией независимости. В то время, рассчитывая, что раздел бывшей Югославии произойдет мирным путем (в конце концов, в самой Словении война длилась всего одиннадцать дней), группа европейских предпринимателей добилась разрешения на устройство психиатрической лечебницы в бывших казармах, давно уже заброшенных из-за высокой стоимости необходимого ремонта.

Однако вскоре начались политические неурядицы, переросшие в настоящую войну — вначале в Хорватии, затем в Боснии. Предприниматели-соучредители фонда Виллете сильно забеспокоились: средства поступали от вкладчиков, разбросанных по всему миру, даже имена которых были неизвестны, так что всех их собрать, чтобы извиниться и попросить набраться терпения, было просто физически невозможно. Проблему пришлось решать способами, не имевшими ничего общего с официальной медициной. Так в молодой стране, едва успевшей выбраться из «развитого социализма», Виллете стал символом худшего, что несет с собой капитализм: чтобы получить место в клинике, достаточно было просто заплатить.

Многие, кто желал избавиться от кого-нибудь из членов семьи из-за споров по поводу наследства (или, скажем, по причине компрометирующего семью поведения), готовы были выложить солидную сумму, лишь бы раздобыть официальное медицинское заключение, согласно которому дети или родители, явившиеся источником проблем, помещались в приют.

Другие же, чтобы спастись от кредиторов или оправдать некоторые действия, следствием которых могло стать длительное тюремное заключение, прятались в стенах больницы, а по истечении нужного времени выходили на волю свободными людьми, над которыми уже бессильны и судебные исполнители, и кредиторы.

Виллете — это было такое место, откуда никто никогда не пытался бежать. Здесь бок о бок находились настоящие умалишенные, угодившие сюда по решению суда или переведенные из других больниц, и те, кого объявляли или кто сами притворялись сумасшедшими. В результате возник совершенный хаос, в газетах то и дело мелькали сообщения о всяческих злоупотреблениях в стенах клиники, о дурном обращении с больными, однако ни разу ни одному журналисту не удалось добиться пропуска в Виллете, чтобы собственными глазами увидеть, что же в ней на самом деле происходит. Правительственные комиссии проводили нескончаемые и столь же безрезультатные расследования, слухи не подтверждались, акционеры угрожали раззвонить по всему миру об опасности иностранных инвестиций в Словении... а приют не только выстоял, но и, судя по всему, процветал.

— Моя тетка несколько месяцев назад тоже совершила самоубийство, — продолжал женский голос. — А до этого почти восемь лет не желала выходить из своей комнаты и только без конца ела, курила, толстела и спала, наглотавшись транквилизаторов. И это при том, что у нее были две дочери и преданный, любящий муж.

Вероника попыталась повернуть голову, чтобы увидеть, чей это голос, но ничего не получилось.

— Лишь однажды я видела, как в ней проснулся живой человек, — когда она узнала, что муж завел себе любовницу. Тетка закатила безумную истерику, расколотила всю посуду в доме, худела на глазах и неделями не давала покоя соседям своими криками. Хотя это может показаться абсурдным, но я думаю, если когда-нибудь она была по-настоящему счастлива, то именно в эти дни: она за что-то боролась, она чувствовала себя живой, способной ответить на брошенный судьбою вызов.

Только при чем здесь я? — подумала Вероника, лишенная возможности произнести хоть полслова. — *Я не твоя тетка, да и мужа у меня никакого нет!*

— Потом муж к ней все-таки вернулся, бросил любовницу, — продолжал женский голос. — И тетка опять погрузилась в ту же беспросветную апатию. Однажды звонит мне и говорит, что бросила курить, пора вообще изменить образ жизни. И вот на той же неделе, напичкав себя успокоительными, чтобы заглушить тягу к сигаретам, всех обзвонила и сказала, что вот-вот покончит с собой. Никто ей, конечно, не поверил. И через пару дней просыпаюсь я примерно к полудню — а на автоответчике послание от тетки, прощальное. Она отравилась газом. Это ее прощальное послание я прослушала много раз: никогда еще в ее голосе не было такого покоя, такого примирения с судьбой. Она сказала, что попросту не способна больше чувствовать ничего — ни радости, ни горя, — и значит, хватит, с нее довольно.

Веронике стало жаль женщину, которая рассказывала эту историю. Должно быть, она искренне хотела понять смерть своей тети. Как можно осуждать людей, решивших умереть, в этом мире, где каждый старается выжить любой ценой?

Никому не дано судить. Каждый сам знает глубину своих страданий, — тех страданий, когда в конце концов теряется сам смысл жизни. Веронике хотелось высказать именно это, но она только поперхнулась из-за трубки в горле, и ей пришла на помощь невидимая обладательница голоса.

Над Вероникой — над ее спеленутым телом, увитым трубками, которые должны были

всячески его защищать от собственной хозяйки, от ее намерения покончить с собой, — склонилась медсестра. Вероника затрясла головой, взглядом умоляя вытащить из нее эту проклятую трубку, чтобы дали ей наконец умереть спокойно.

— Вы нервничаете, — сказала женщина. — Я не знаю, раскаялись ли вы или все еще хотите умереть, но мне это безразлично. Меня интересует только выполнение моих обязанностей: если пациент начинает волноваться, по правилам я должна дать ему успокоительное.

Вероника замерла, но медсестра уже делала в вену укол. Вскоре Вероника вновь оказалась в странном мире без сновидений, и последним, что она видела, проваливаясь в забытие, было лицо склонившейся над нею медсестры: темные глаза, каштановые волосы, отсутствующий взгляд человека, который делает свое дело, — делает просто потому, что так положено, так требуют правила, и, значит, бессмысленно задаваться вопросом — почему.

Об истории, которая случилась с Вероникой, Пауло Коэльо узнал три месяца спустя, за ужином в одном из алжирских ресторанов Парижа, от знакомой словенки — мало того что тезки Вероники, но и дочери главного врача Виллете.

* * *

Позже, уже когда созрел замысел этой книги, ее автор хотел было вначале изменить имя героини, чтобы не путать читателя. Он долго прикидывал, не назвать ли Веронику, которая решила умереть, Блаской, или Эдвиной, или Марицей, или еще каким-нибудь словенским именем, но в конце концов решил оставить всё как есть, то есть сохранить подлинные имена. Поэтому, решил он, когда в книге появится та, с кем был ужин в ресторане, то она будет называться «Вероникой — подругой автора». Что же до самой героини романа, то, наверное, нет необходимости давать ей какие-либо уточняющие определения — ведь в книге она и так будет главным действующим лицом, и было бы утомительно называть ее всякий раз «Вероникой-душевнобольной» или «Вероникой, решившей умереть». Как бы то ни было, и сам автор, и его подруга Вероника появляются только в одной главе — вот в этой.

За столом в ресторане Вероника рассказывала, какой ужас ей внушает то, чем занимается ее отец, — особенно если учесть, что под его началом заведение, которое весьма ревниво относится к своему реноме, а сам он работает над диссертацией, которая должна принести ему известность в ученом мире.

— Тебе вообще известно, откуда взялось само слово «приют»? ^[1] — спросила она. — Все началось в Средние века, когда каждый имел право искать убежище при церквях, в святых местах. Что такое право на убежище, понятно любому цивилизованному человеку! Как же так получилось, что мой отец, будучи директором того, что называется «приют», может поступать с людьми подобным образом?

Пауло Коэльо захотелось узнать подробнее обо всем происшедшем, ведь у него был весьма веский повод заинтересоваться историей Вероники.

А повод был такой: его самого помещали в клинику для душевнобольных, или «приют», как чаще называли больницы такого рода. И было такое не один раз, а целых три — в шестьдесят пятом году, в шестьдесят шестом и в шестьдесят седьмом. Местом заключения была частная клиника доктора Эйраса в Рио-де-Жанейро.

Ему до сих пор была неясна подлинная причина госпитализации: возможно, его встревоженных родителей вынудила в конце концов к этой крайней мере его странная манера поведения — то слишком, по их мнению, скованная, то слишком раскованная, — а может быть,

на самом деле все объяснялось его желанием стать «свободным художником», что несомненно означало стать бродягой и закончить свои дни под забором.

Возвращаясь порой к воспоминаниям об этом печальном эпизоде в своей жизни, — что случилось, надо сказать, нечасто, — Пауло Коэльо все более утверждался в мысли, что если кто и был по-настоящему сумасшедшим, так это врач, который не задумываясь, без всяких колебаний решил поместить его в психбольницу (с другой стороны, оно и понятно: в подобных случаях в любой семье предпочтут ради ее сохранения свалить вину на кого-нибудь со стороны, лишь бы не подвергать сомнению авторитет родителей, которые руководствовались, наверное, самыми благими побуждениями, пусть даже не ведали, что творят).

Пауло рассмеялся, услышав о странном прощальном письме Вероники, в котором она обвиняла весь мир в том, что даже в солидном журнале, издаваемом в самом центре Европы, понятия не имеют, где находится Словения.

— В первый раз слышу, чтобы по такому пустячному поводу кому-то пришло в голову покончить с собой.

— Потому-то и не было на ее письмо никакого отклика, — с грустью заметила сидевшая за столом Вероника — подруга автора. — Да что тут говорить: не далее как вчера, когда я регистрировалась в отеле, там решили, что Словения — какой-то город в Германии.

Ему было знакомо это чувство. То и дело кто-нибудь из иностранцев, желая доставить ему удовольствие, рассыпался в дежурных комплиментах красоте Буэнос-Айреса, почему-то считая этот аргентинский город столицей Бразилии. Общим с Вероникой у него было еще и то, о чем уже упоминалось, но о чем стоит сказать еще раз: некогда и он был упрятан в психиатрическую лечебницу, «из которой ему и не следовало выходить», как однажды заметила его первая жена.

Но он вышел.

И, покидая в последний раз клинику доктора Эйраса, исполненный решимости больше ни за что туда не возвращаться, он дал себе два обещания: (а) что однажды он обязательно напишет об этой истории; (б) но, пока живы его родители, не станет затрагивать эту тему вообще, поскольку не хотел их ранить, ведь потом долгие годы они раскаивались в содеянном.

Его мать умерла в 1993 году. Но его отец, которому в 1997 году исполнилось 84 года, все еще пребывал в ясном уме и добром здравии — несмотря на эмфизему легких (хотя он никогда не курил) и то, что он питался исключительно полуфабрикатами, поскольку ни одна домработница не могла ужиться с ним из-за его эксцентричности.

Таким образом, история Вероники, услышанная в ресторане, сама собою сняла запрет: теперь об этом можно было заговорить, не нарушая давней клятвы. И, хотя сам Коэльо никогда не думал о самоубийстве, ему была достаточно хорошо известна сама атмосфера, царящая в заведениях для душевнобольных: обязательные, если не насильственные лечебные процедуры, унижительное обращение с пациентами, безразличие врачей, чувство загнанности и тоски в каждом, кто понимает, где он находится.

А теперь, с позволения читателя, дадим Пауло Коэльо и его подруге Веронике навсегда покинуть эту книгу и продолжим повествование.

Неизвестно, сколько длилось забытие. Вероника помнила лишь, что, когда она на секунду очнулась, в носу и во рту всё еще торчали трубки аппарата искусственного дыхания, и как раз в это мгновение чей-то голос произнес: «Хочешь, я сделаю тебе мастурбацию?»

Теперь, озираясь вокруг широко раскрытыми глазами, она все более сомневалась, было ли это в действительности или просто почудилось. И больше она не помнила ничего, абсолютно ничего.

Трубок больше не было, но тело оставалось едва не сплошь утыкано иглами капельниц; к голове и к груди подсоединены провода электродатчиков, а руки связаны. Она лежала голая, укрытая лишь простыней: было холодно, но с этим приходилось мириться. Весь отведенный ей закуток, отгороженный ширмами, был загроможден аппаратурой интенсивной терапии, а рядом с койкой, на железном стуле, выкрашенном все той же белой больничной краской, сидела медсестра с раскрытой книгой в руках.

У медсестры были темные глаза и каштановые волосы, но все же Вероника усомнилась, та ли это женщина, с которой она говорила несколькими часами или, может быть, днями ранее.

— Вы не развяжете мне руки?

Подняв глаза, медсестра бросила «нет» и вновь погрузилась в чтение.

Я жива, — подумала Вероника. — Опять все сначала. Придется здесь проторчать неизвестно сколько, пока не удастся их убедить, что я в здравом уме, что со мной все в полном порядке. Потом меня выпишут, и все, что я увижу за этими стенами, опять будет та же Любляна, центральная площадь и те же мосты, горожане, прогуливающиеся или спешащие по своим делам.

Людям нравится выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, и поэтому, наверное, из показного сострадания мне снова дадут работу в библиотеке. Со временем я опять начну ходить по тем же барам и ночным клубам, где все те же бессмысленные разговоры с друзьями о несправедливости и проблемах этого мира, ходить в кино, гулять по берегу озера.

Таблетки в общем-то оказались удачным выбором — в том смысле, что путь для отступления открыт: я не стала калекой; я такая же молодая, красивая, умная и, значит, смогу по-прежнему, без особого труда найти себе очередного любовника. Это значит — заниматься любовью у него дома или, скажем, в лесу, получая вполне определенное удовольствие, — только всякий раз после оргазма будет возвращаться все то же ощущение пустоты. Постепенно иссякнут темы для разговоров, и втайне оба мы будем думать об одном: о поисках благовидного предлога — «уже поздно», «завтра мне рано вставать», — а потом мы решим «расстаться друзьями», по возможности избежав утомительных и ненужных сцен.

Я снова возвращаюсь в ту же комнату при монастыре. Что-то листаю, включаю телевизор, где все те же передачи, ставлю стрелку будильника ровно на тот же час, что и вчера; потом на работе, у себя в библиотеке, механически исполняю очередной заказ. В полдень съедаю бутерброд в сквере напротив театра, сидя на все той же скамейке, среди других людей, которые с серьезными лицами и отсутствующим взглядом поглощают свои бутерброды на таких же облюбованных скамейках.

После обеда — опять на работу, где приходится выслушивать все те же сплетни — кто с кем встречается, кто от чего страдает, у кого муж, оказывается, просто подонок, — выслушиваю снисходительно, радуясь втайне тому, что я-то особенная, я неповторимая, я красивая, работой обеспечена, а что до любовников, то с этим никаких проблем. После работы — опять по барам. И все сначала.

Мать, которую, должно быть, хорошо встряхнет моя попытка самоубийства, достаточно скоро придет в себя после шока, и вновь начнется: что я себе думаю, почему не такая, как все, ведь я уже не маленькая, пора подумать о будущем, пора устраивать свою жизнь, в конце концов все на самом деле не настолько сложно, как я себе представляю. «Взгляни, например, на меня, я уже столько лет замужем за твоим отцом — и ничего, не жалею, потому что главным для меня всегда была ты, я делала все, что могла, чтобы дать

тебе самое лучшее воспитание, чтобы ты получила хорошее образование, чтобы я могла гордиться тобой».

В один прекрасный день я устану от нескончаемых нотаций и, чтобы доставить ей удовольствие, выйду за кого-нибудь замуж, уговорив себя, что в самом деле его люблю. Поначалу мы будем строить воздушные замки о собственном загородном доме, о будущих детях, о том, как у них все замечательно устроится. Первый год мы еще будем часто заниматься любовью, второй — гораздо реже, а потом, наверное, сама мысль о сексе будет появляться у нас раза два в неделю, не говоря о ее воплощении раз в месяц. Мало того, мы почти перестанем разговаривать друг с другом. В растущей тревоге я начну спрашивать себя — может быть, это я всему виной, может быть, это со мной что-то не в порядке, раз я его больше не интересую. Единственное, о чем с ним можно говорить, — это его друзья, словно на них свет клином сошелся.

Когда наш брак будет совсем уж висеть на волоске, я забеременею. У нас родится ребенок, на какое-то время мы станем ближе друг другу, а затем потихоньку все вернется в прежнюю колею.

Затем я начну катастрофически толстеть, как та самая тетка вчерашней медсестры, или позавчерашней, не помню, неважно. В сражении со стремительно прибывающим весом сяду на диету, изо дня в день чувствуя себя разбитой и подавленной оттого, что все усилия бесполезны. Чтобы хоть за что-то уцепиться, начну принимать нынешние якобы чудодейственные препараты, снимающие депрессию, и после ночей любви, всегда столь редких, рожу еще несколько детей. Я буду твердить направо и налево, что дети, мол, смысл моей жизни, а ведь если подумать, то наоборот: как раз моя жизнь — это смысл их жизни, сама ее причина.

Все вокруг будут считать нас счастливой парой, не догадываясь, что и здесь, как всюду, за видимостью счастья таится все та же горечь и тоска, все то же беспросветное одиночество.

А потом мне однажды доложат, что у мужа есть любовница. Я, наверное, устрою скандал, как та самая тетка медсестры, или вновь начну обдумывать простейший выход — самоубийство. Но к тому времени я уже буду старая и трусливая, расплывшаяся и обрюзгшая, с двумя-тремя детьми на руках, которым нужна моя помощь, их ведь нужно воспитать, дать им образование, помочь найти свое место под солнцем — ведь у меня обязанности, от которых никуда не деться, так что какое уж тут самоубийство — самоубийство придется надолго отложить. Да и не будет никакого самоубийства, будут бесконечные скандалы, обвинения, угрозы уйти вместе с детьми. Муж, как водится, пойдет на попятный, начнет уверять, что любит только одну меня и что такое больше не повторится, даже не понимая, что на самом деле мне некуда деваться, разве что переехать к родителям — на этот раз навсегда, до конца своих дней, — а это значит вновь с утра до ночи выслушивать нотации и причитания, что я сама виновата, сама разрушила семейное счастье — пусть какое-никакое, но счастье, — что он, при всех его недостатках, был все-таки хорошим мужем, не говоря о том, что для детей сам по себе наш развод — непоправимая психическая травма.

Еще через два-три года у него появится новая любовница — об этом я либо догадаюсь сама, когда ее увижу, либо мне кто-нибудь опять-таки поспешит об этом сообщить, а я, конечно, закрою на это глаза, — на борьбу с прежней любовницей ушло столько сил, что теперь лучше принять жизнь как есть, если уж она оказалась не такой, как я себе представляла. Мать была права.

Он будет со мной все так же мил, я все так же буду работать в библиотеке, в полдень на площади перед театром съедать свой бутерброд, братья за книги, каждую всякий раз бросая недочитанной, глазеть в телевизор, где все останется таким же и через десять, и через

двадцать, и через пятьдесят лет.

Только теперь бутерброды я буду есть с крепнущим чувством вины, все более безнадежно толстая; и в бары теперь путь мне будет заказан, потому что у меня есть муж, у меня есть дом, а в нем дети, которые требуют материнской заботы, которых надо воспитывать, принося им в безоглядную жертву свою оставшуюся жизнь.

И теперь весь ее смысл сведется к ожиданию той поры, когда они вырастут, и все более неотвязными будут мысли о самоубийстве, но теперь о нем остается только мечтать. И в один прекрасный день я приду к убеждению, что на самом деле — такова жизнь, в которой все стоит на месте, в которой никогда ничего не меняется.

И я смирюсь с этим.

Внутренний монолог иссяк, и Вероника дала себе клятву: живой из Виллете она не выйдет. Лучше покончить со всем сейчас, пока еще есть силы и решимость умереть.

То и дело погружаясь в глубокий сон, при всяком очередном пробуждении она отмечала, как тает гора окружающей койку аппаратуры, как тело становится теплее, как меняются лица медсестер, но одна из них всегда дежурит рядом с ней. Сквозь ширмы доносился чей-то плач, стоны, спокойно и методично что-то диктовали полупшепотом чьи-то голоса. Время от времени где-то жужжал какой-то аппарат и по коридору неслись быстрые шаги. В эти минуты голоса теряли спокойствие и методичность, становились напряженными, отдавали поспешные приказания.

При очередном пробуждении дежурившая у койки очередная медсестра спросила:

— Не хотите ли узнать о своем состоянии?

— Зачем? Мое состояние мне и так известно, — ответила Вероника. — Только это не имеет отношения к тому, что происходит с моим телом. Вам этого не понять — это то, что сейчас творится в моей душе.

Медсестра явно хотела что-то возразить, но Вероника притворилась, что уже спит.

Когда Вероника снова открыла глаза, то обнаружила, что лежит уже не в закутке за ширмами, а в каком-то просторном помещении — судя по всему, больничной палате. В вене еще торчала игла капельницы, но все прочие атрибуты реанимации исчезли.

* * *

Рядом с койкой стоял врач — высокого роста, в традиционном белом халате в контраст нафабранным усам и шевелюре черных волос, столь же явно крашенных. Из-за его плеча выглядывал с раскрытым блокнотом в руках молодой стажер-ассистент.

— Давно я здесь? — спросила она, выговаривая слова медленно и с трудом, едва не по слогам.

— В этой палате — две недели, после пяти дней в отделении реанимации, — ответил мужчина постарше. — И скажите спасибо, что вы еще здесь.

При последней фразе по лицу молодого человека пробежала странная тень — не то недоумения, не то смущения, — и Вероника сразу насторожилась: что еще? Какие еще придется вытерпеть муки? Теперь она неотрывно следила за каждым жестом, за каждой сменой интонации этих двоих, зная, что задавать вопросы бесполезно, — лишь в редких случаях врач скажет больному всю правду, — а значит, остается лишь самой постараться выведать, что с ней

на самом деле.

— Будьте добры, ваше имя, дата рождения, семейное положение, адрес, род занятий, — произнес старший.

С датой рождения, семейным положением и родом занятий, тем более с собственным именем, не было ни малейшей задержки, однако Вероника с испугом заметила, что в памяти появился пробел — не удавалось вспомнить точный адрес.

Врач направил ей в глаза лампу, и вдвоем с ассистентом они долго там что-то высматривали. Потом обменялись беглыми взглядами.

— Это вы сказали дежурившей ночью медсестре, будто нам все равно не увидеть то, что у вас в душе? — спросил ассистент.

Такого Вероника что-то не могла припомнить. Ей вообще с трудом давалось осознание того, что с ней случилось и почему она здесь.

— Вероятно, вы еще под действием успокоительного — оно в обязательном порядке входит в курс реанимации, — а это могло в какой-то мере повлиять на вашу память. Но прошу вас, постарайтесь ответить на все, о чем мы будем спрашивать, по возможности точно.

И оба принялись по очереди задавать ей какие-то совершенно дурацкие вопросы: как называются крупнейшие люблянские газеты, памятник какому поэту стоит на главной площади (ну уж этого она не забудет никогда: в душе любого словенца запечатлен образ Прешерна), какого цвета волосы у ее матери, как зовут ее сотрудников, какие книги чаще всего берут у нее в библиотеке читатели.

Вначале Вероника хотела было вообще не отвечать, — ведь в самом деле голова была еще как в тумане. Но от вопроса к вопросу память прояснялась, и ответы становились все более связными. В какой-то момент ей подумалось как бы со стороны, что, если она находится в психбольнице — а похоже, что это именно так, — то ведь сумасшедшие совершенно не обязаны мыслить связно. Однако для своего же блага, чтобы убедить, что они имеют дело отнюдь не с сумасшедшей, — а еще желая вытянуть из них побольше о своем состоянии, — Вероника постаралась отвечать вполне добросовестно, напрягая память в усилиях извлечь из нее те или иные факты, сведения, имена. И по мере того, как сквозь пелену забвения пробивалась ее прежняя жизнь, восстанавливалась сама личность Вероники, ее индивидуальность, ее предпочтения, вкусы, оценки, ее мировосприятие, ее видение жизни, — и мысль о самоубийстве, совсем недавно, казалось, навсегда похороненная под несколькими слоями транквилизаторов, вновь всплыла на поверхность.

— Ну, на сегодня хватит, — сказал наконец тот, что постарше.

— Сколько еще мне здесь находиться?

Тот, что помоложе, отвел глаза, и она буквально кожей почувствовала, как все повисло в воздухе, словно с ответом на этот вопрос перевернется страница, и с нею вся жизнь будет переписана заново, причем безвозвратно.

— Говори, не стесняйся, — сказал старший. — Здесь уже ходят всякие сплетни, так что и ее ушам их не миновать. В этом заведении ничего не утаить.

— Ну, что сказать, — вы сами определили свою судьбу, — со вздохом вымолвил молодой человек, тщательно взвешивая каждое слово. — Теперь настало время узнать, каковы последствия того, что вы натворили. В такой лошадиной дозе снотворное привело к коме, а длительное пребывание в коме, тем более в столь глубокой, представляет прямую угрозу сердечной деятельности, вплоть до ее прекращения. Вот вы и заработали некроз... Некроз желудка...

— Да ты без экивоков, — сказал старший. — Говори прямо.

— Словом, вашему сердцу нанесен непоправимый ущерб, а это означает... что оно скоро

перестанет биться. Сердце остановится.

— И что это значит? — спросила она в испуге.

— Только одно: физическую смерть. Не знаю, каковы ваши религиозные убеждения, но...

— Сколько мне осталось жить? — перебила Вероника.

— Дней пять, от силы неделю.

За всей его отстраненностью, за всем напускным профессиональным сочувствием сквозило откровенное удовольствие, которое этот парень получал от собственных слов, словно оглашенный им приговор — примерное и вполне заслуженное наказание, чтоб впредь и прочим неповадно было.

За свою жизнь Вероника не раз имела случай убедиться, что многие люди о несчастьях других говорят так, будто всеми силами желали бы им помочь, тогда как на самом деле втайне испытывают некое злорадство, — ведь на фоне чужих страданий они чувствуют себя более счастливыми, не обделенными судьбой. Таких людей Вероника презирала, потому и сейчас не собиралась предоставлять этому юнцу возможность, изображая сострадание, самоутверждаться за ее счет.

Вероника пристально посмотрела на него. И улыбнулась.

— Значит, я все-таки добилась своего.

— Да, — прозвучало в ответ.

Но от его самодовольства, от упоения собой в роли принесшего трагические вести не осталось и следа.

Однако ночью пришел настоящий страх. Одно дело — быстрая смерть от таблеток, и совсем другое — ждать смерти почти неделю, когда и так уже совершенно истерзана тем, что довелось пережить.

* * *

Всю свою жизнь она прожила в постоянном ожидании чего-то: возвращения отца с работы, письма от любовника, которое все никак не приходит, выпускных экзаменов, поезда, автобуса, телефонного звонка, начала отпуска, конца отпуска. Теперь приходится ждать смерти, встреча с которой уже назначена.

Только со мной могло такое случиться. Обычно ведь умирают как раз в тот день, когда нет даже мысли о смерти.

Нужно выбраться отсюда. Нужно снова раздобыть таблетки, а если не получится и останется единственный выход — броситься с крыши, она пойдет и на это. Здесь уж не до родителей, не до их душевных терзаний, если выбора нет.

Она приподняла голову и огляделась. Все койки были заняты спящими, откуда-то доносился громкий храп. На окнах виднелись решетки. Отбрасывая причудливые тени по всей палате, в дальнем ее конце, у выхода, горел ночник, обеспечивавший неусыпный надзор за пациентами. У ночника женщина в белом халате читала книгу.

Какие культурные эти медсестры. Все время только и делают, что читают.

Веронике отвели место в самом дальнем углу: отсюда до медсестры, углубившейся в чтение, было десятка два коек. На то, чтобы подняться с постели, ушли все силы — ведь уже почти три недели, если верить словам врача, Вероника была лишена всякого движения.

Подняв глаза, медсестра увидела, как с капельницей в руке приближается та, кого недавно

привезли из реанимации.

— Я в туалет, — прошептала она, боясь разбудить других обитателей палаты.

Медсестра кивнула в сторону выхода. Вероника лихорадочно соображала, где бы тут найти лазейку, как бы незаметно выскользнуть из больничных стен.

Нельзя откладывать, пока они уверены, что я еще слишком слаба и не вздумаю трепыхаться.

Она окинула все вокруг напряженно-внимательным взглядом. Туалет оказался тесной кабинкой без двери. Чтобы выскочить из палаты, не оставалось бы ничего иного, кроме как схватить дежурную и, одолев ее, завладеть ключом, но для этого Вероника была слишком слаба.

— Это что — тюрьма? — спросила она.

Дежурная отложила книгу и теперь неотрывно следила за каждым движением Вероники.

— Нет. Это клиника для душевнобольных.

— Но я не сумасшедшая.

Женщина рассмеялась.

— Ну да, все здесь так говорят.

— Ну хорошо, пусть я сумасшедшая. Но что это значит?

Женщина сказала Веронике, что ей нельзя подолгу быть на ногах, и велела снова лечь в кровать.

— Что значит быть сумасшедшей? — настаивала Вероника.

— Об этом спросите завтра у врача. А сейчас — спать, не то придется дать вам успокоительное, хотите вы этого или нет.

Пришлось сдаться, и Вероника поплелась обратно. Уже возле своей койки она услышала шепот:

— Вы что, в самом деле не знаете, что такое сумасшествие?

Первым побуждением было вообще сделать вид, что не расслышала: не хватало еще и в психушке заводить знакомства, искать единомышленников и соратников в сопротивлении местным властям.

На уме у Вероники было лишь одно: смерть. Если убежать невозможно, она постарается здесь же покончить с собой — и чем скорей, тем лучше.

Но вопрос был тот же, который она сама задала дежурной.

— Вы не знаете, что значит быть сумасшедшей?

— Вы кто?

— Меня зовут Зедка. Идите к себе в кровать. Нужно усыпить внимание дежурной, а потом постарайтесь незаметно пробраться сюда.

Вероника вернулась к себе в кровать и подождала, пока дежурная снова углубилась в чтение. Что значит быть сумасшедшей? У нее было весьма смутное представление на сей счет, поскольку само это слово употребляют кому как вздумается: говорят, например, про спортсменов, что только ненормальные могут так себя гробить в погоне за рекордами. Или про художников — что только у полоумных бывает такая сумбурная жизнь, в которой нет ничего постоянного, ничего надежного, да и сами художники не знают, чего от себя ждать. Ну и, кроме того, на улицах Любляны случалось видеть посреди зимы слишком легко одетых людей, которые разглагольствовали о конце света и повсюду таскали за собой раздвижные тележки, груженные картоном и тряпьем.

Спать ей не хотелось. По словам врача, она проспала почти целую неделю — слишком долго для человека, привыкшего к жизни без сильных переживаний, но с жестким графиком отдыха.

Что такое сумасшествие? Наверное, лучше спросить кого-нибудь из душевнобольных.

Вероника сползла с койки на пол, приселана корточками и, вытащив из вены иглу, стала пробираться туда, где лежала Зедка, борясь с подступающей тошнотой — побочным следствием не то заработанного некроза, не то усилий, которые сейчас от нее требовались.

— Я не знаю, что значит быть сумасшедшей, — прошептала Вероника. — Я не сумасшедшая. Я лишь неудавшаяся самоубийца.

— Сумасшедший — это тот, кто живет в своем особом мире. Как, к примеру, шизофреники, психопаты, маньяки. То есть те, кто явно отличаются от других.

— Как вы, например?

— Кстати, — продолжала Зедка, пропустив реплику мимо ушей, — вы наверняка слышали об Эйнштейне, который говорил, что нет пространства и времени, а есть их единство. Или о Колумбе, который настаивал на том, что по другую сторону океана — не бездна, а континент. Или об Эдмунде Хиллари, который был убежден, что человек может взойти на вершину Эвереста. Или о «Битлз», которые создали другую музыку и одевались словно люди совершенно иной эпохи. Все эти люди, и тысячи других, тоже жили в своем особом мире.

Эта сумасшедшая говорит разумные вещи, — подумала Вероника, вспомнив истории, которые ей рассказывала мать, — о святых, утверждавших, что они разговаривали с Иисусом или Девой Марией. Они тоже жили в другом мире?

— Я видела здесь, в Любляне, как по улице шла женщина с остекленевшими глазами, одетая в красное платье с декольте, а на термометре было 5 градусов мороза. Я решила, что она пьяна, и хотела помочь ей, но она отказалась взять мою куртку. Наверное, в ее мире было лето; ее сердце было горячим от желания кого-то, кто ее ждет. И пусть этот другой — лишь плод ее воображения, но разве она не имеет права жить и умереть, как ей хочется?

Вероника не знала, что сказать, но слова этой сумасшедшей женщины были разумны. Кто знает, не она ли была той женщиной, которая полуголой вышла на улицы Любляны?

— Я расскажу вам одну притчу, — сказала Зедка. — Могущественный колдун, желая уничтожить королевство, вылил в источник, из которого пили все жители, отвар волшебного зелья. Стоило кому-нибудь глотнуть этой воды — и он сходил с ума.

Наутро все жители напились этой воды, и все до одного сошли с ума, кроме короля, у которого был свой личный колодец для него и для его семьи, и находился этот колодец там, куда колдун добраться не мог. Встревоженный король попытался призвать к порядку подданных, издав ряд указов о мерах безопасности и здравоохранения, но полицейские и инспектора успели выпить отравленную воду и сочли королевские решения абсурдом, а потому решили ни за что их не выполнять.

Когда в стране узнали о королевских указах, то все решили, что их властитель сошел с ума и теперь отдает бессмысленные приказы. С криками они пришли к замку и стали требовать, чтобы король отрекся от престола.

В отчаянии король уже собирался сложить с себя корону, когда его остановила королева, которая сказала: «Давай пойдем к тому источнику и тоже выпьем из него. Тогда мы станем такими же, как они».

Так они и сделали. Король и королева выпили воды из источника безумия и тут же понесли околесицу. В тот же час их подданные отказались от своих требований: если теперь король проявляет такую мудрость, то почему бы не позволить ему и дальше править страной?

В стране воцарилось спокойствие, несмотря на то, что ее жители вели себя совсем не так, как их соседи. И король смог править до конца своих дней.

Вероника рассмеялась.

— Непохоже, что вы сумасшедшая, — сказала она.

— Но это правда, хотя меня и можно вылечить, ведь у меня болезнь простая — достаточно восполнить в организме нехватку одного химического вещества. И все же я надеюсь, что это вещество решит только мою проблему хронической депрессии. Я хочу остаться сумасшедшей, жить так, как я мечтаю, а не так, как хочется другим. Вы знаете, что находится там, за стенами Виллете?

— Там люди, выпившие из одного колодца.

— Совершенно верно, — сказала Зедка. — Им кажется, что они нормальные, поскольку все они поступают одинаково. Я буду притворяться, что тоже напилась той воды.

— Но я-то выпила, и именно в этом моя проблема. У меня никогда не было ни депрессии, ни большой радости, ни печали, которой бы хватило надолго. Мои проблемы такие же, как у всех.

Зедка на какое-то время замолчала.

— Говорят, вы скоро умрете.

Вероника на миг заколебалась: можно ли довериться этой женщине, с которой едва знакома? Наверное, следует рискнуть.

— Мне осталось всего пять-шесть дней. Я сейчас думаю, есть ли способ умереть раньше? Если бы вы или кто-нибудь из тех, кто здесь, достали мне нужные таблетки, я уверена, что на сей раз сердце не выдержит. Пожалуйста, попытайтесь понять, как мучительно ждать смерти, и, если есть возможность, помогите мне.

Не успела Зедка ответить, как появилась медсестра со шприцем.

— Самой вам сделать укол или, может, позвать санитаров?

— Не спорьте с нею, — сказала Зедка Веронике. — Берегите силы, если хотите получить то, о чем меня просили.

Вероника поднялась с корточек и, вернувшись к себе на место, сдалась на милость медсестры.

Это был ее первый нормальный день в Виллете, своего рода «выход в свет» — в общество умалишенных. Из палаты Вероника направилась в просторную столовую, где собирались из обоих отделений — женского и мужского. Взяв чашку кофе, про себя Вероника отметила: в отличие от того, что показывают в фильмах про психушки, — скандалы, крики, яростная жестикуляция, непредсказуемые выходки пациентов, — здесь все было погружено в гнетущую атмосферу безмолвного, фальшиво-благостного покоя. Каждый ушел в себя, в свой внутренний мир, куда закрыт доступ посторонним.

* * *

После завтрака, который оказался довольно вкусным (впрочем, несмотря на мрачную репутацию Виллете, никто никогда не говорил, что там плохо кормят), больным предписывались «солнечные ванны на свежем воздухе». Между тем солнца сегодня не было, да и холод стоял основательный — температура ниже нуля. В бдительном сопровождении санитаров больные потянулись во двор, в сад, покрытый снегом.

— Я здесь не для того, чтобы сохранить себе жизнь, а чтобы от нее избавиться, — сказала Вероника одному из санитаров.

— Даже если это так, вы все равно должны выйти на улицу и принять солнечную ванну.

— Кто из нас сумасшедший? Ведь там нет никакого солнца!

— Но есть свет, и он благотворно действует на больных. К сожалению, зимы у нас долгие, иначе и работы у нас было бы гораздо меньше.

Спорить было бесполезно; Вероника вышла в сад и прошлась вдоль стены, оглядываясь вокруг и втайне помышляя о бегстве. Стена была высокой, что было типично для старых казарм, но башни для часовых были пусты. По периметру сада располагались здания военного образца, в которых теперь находились мужские и женские палаты, административные помещения, процедурные и ординаторские.

Сразу стало ясно, что единственным по-настоящему укрепленным участком был главный вход — что-то вроде вахты с двумя охранниками, проверявшими документы у каждого, кто бы ни следовал мимо.

Похоже, умственные способности Вероники постепенно возвращались к норме. Для проверки она стала вспоминать всякие мелочи: где оставила ключ от своей комнаты, какой диск недавно купила, какой последний заказ получила в библиотеке.

— Я — Зедка, — сказала оказавшаяся вдруг рядом женщина.

Ночью не удалось рассмотреть ее лицо — весь вчерашний разговор у койки Веронике пришлось просидеть на корточках, не поднимая головы. Назвавшаяся Зедкой была на вид совершенно нормальной женщиной, лет примерно тридцати пяти.

— Надеюсь, укол вам не слишком повредил. Вообще со временем организм привыкает, и успокоительные перестают действовать.

— Я чувствую себя неплохо.

— Наш вчерашний разговор... помните, о чем вы меня просили?

— Конечно.

Зедка взяла ее под руку, и они стали прогуливаться по дорожке среди голых деревьев. За стеной ограды виднелись горы, тающие в облаках.

— Холодно, но утро прекрасное, — сказала Зедка. — Странно, именно в такие пасмурные, холодные дни депрессии у меня никогда не бывало. В ненастье я чувствую, что природа словно в согласии со мной, с тем, что на душе. И наоборот — стоит появиться солнцу, когда на улицах играет детвора, когда все радуются чудесному дню, я чувствую себя ужасно. Такая вот несправедливость: вокруг все это великолепие — но мне в нем места нет.

Вероника осторожно высвободилась. Ей всегда претила фамильярность, она инстинктивно избегала навязываемых физических контактов.

— По-моему, разговор не о том. Вы ведь начали с моей просьбы.

— Ах да. Здесь, в приюте, есть одна особая группа пациентов. Эти мужчины и женщины давно уже могли бы выписаться и преспокойно вернуться домой, но не захотели. И, если подумать, тому есть немало причин — Виллете не так плох, как о нем говорят, хотя, разумеется, здесь далеко не гостиница-люкс. Зато каждый здесь может говорить что вздумается, делать что хочется, не опасаясь вызвать чье-либо недовольство или критику — в конце концов, здесь психбольница. Однако во время официальных ревизий, когда появляется инспекция, участники группы намеренно ведут себя так, будто представляют серьезную угрозу для общества — ведь весьма многие из них здесь за государственный счет. Врачи знают про симуляцию, но, похоже, есть какое-то тайное указание хозяев-соучредителей, заинтересованных в том, чтобы пациентов было побольше. Клиника не должна пустовать — каждый пациент приносит доход.

— И они могут достать таблетки?

— Попробуйте установить с ними контакт. Свою группу, кстати, они называют Братством.

Зедка указала на светловолосую женщину, оживленно беседовавшую с пациенткой помоложе.

— Ее зовут Мари, она из Братства. Спросите ее.

Вероника двинулась было в ту сторону, но Зедка ее удержала:

— Не сейчас: сейчас она развлекается. Она не прекратит заниматься тем, что доставляет ей удовольствие, лишь для того, чтобы оказать любезность незнакомке. Если она будет недовольна, у вас уже никогда не будет шанса к ней приблизиться. «Сумасшедшие» всегда доверяют первому впечатлению.

Вероника рассмеялась над тем, с какой интонацией было сказано «сумасшедшие», но почувствовала при этом смутную тревогу — уж слишком все вокруг казалось нормальным, едва не жизнерадостным. Столько лет подряд жизнь циркулировала в пределах привычного маршрута — с работы в бар, из бара в постель к любовнику, от любовника к себе в монастырскую комнату, из монастыря — в родительский дом, под крылышко матери. И вот теперь она столкнулась с чем-то таким, что ей и не снилось: приют, наблюдение психиатров, санитары...

Где люди не стыдятся говорить, что они сумасшедшие.

Где никто не прекращает делать то, что ему нравится, лишь для того, чтобы оказать другому любезность.

Ее вообще охватило сомнение, не издевается ли над нею втайне Зедка, или же это у ненормальных обычное дело — ставить себя выше других, при всяком удобном случае подчеркивая свою избранность — избранность принадлежащих к особому миру — тому, где царит полная свобода безумия. А с другой стороны, если подумать, разве не все равно? Ей, во всяком случае, выпало пережить некий любопытный и редкий опыт: представьте себе, что вы оказались там, где предпочитают выглядеть сумасшедшими, лишь бы делать что в голову взбредет, пользуясь на этот счет полнейшей свободой.

Едва лишь пришла в голову эта мысль, сердце словно куда-то провалилось. Сразу в памяти вспыхнули слова врача, и недавний невыносимый страх охватил Веронику.

— Мне нужно прогуляться, — сказала она Зедке. — Я хочу побыть одна. — В конце концов, Вероника ведь тоже «сумасшедшая» и, значит, с другими можно не считаться.

Зедка кивнула и отошла в сторону, а Вероника невольно залюбовалась окутанными дымкой горами за стенами Виллете. У нее возникло нечто вроде смутного желания жить, но она решительно его отогнала.

Нужно как можно скорей достать эти таблетки.

Вероника еще раз попыталась обдумать ситуацию, в которую угодила. Ничего хорошего она в ней не находила. Ведь если бы даже ей позволили делать все те безумные вещи, какие позволены сумасшедшим, она бы все равно не знала, с чего начать.

До сих пор она никогда не пыталась совершать ничего безумного.

После прогулки все вернулись из сада в столовую, на обед, а после обеда в сопровождении тех же санитаров потянулись в громадный холл, уставленный столами, стульями, диванами — были здесь даже пианино и телевизор, — зал с большими окнами, за которыми низко проплывали серые тучи. Окна выходили в сад, поэтому решетки на них отсутствовали. Ведущие туда же двери были закрыты — за стеклом стоял нещучный холод, — но чтобы снова выйти на прогулку среди деревьев, стоило лишь повернуть ручку.

Большинство пациентов смотрели телевизор; другие неподвижно глядели перед собою, иные тихо говорили сами с собой — но с кем такого иногда не случалось? Вероника отметила, что самая старшая среди женщин, Мари, теперь оказалась вместе с большой компанией в одном из углов зала. В том же углу прохаживались несколько пациентов, и Вероника попыталась к ним присоединиться — ей хотелось послушать, о чем говорят в компании Мари.

Она как могла придала себе безучастный вид, но, когда оказалась рядом, собеседники Мари замолчали и все как по команде на нее уставились.

— Что вам угодно? — спросил пожилой мужчина, который, вероятно, был лидером пресловутого Братства (если такая группа действительно существует и Зедка не более безумна, чем кажется).

— Да нет, ничего — я просто проходила мимо.

Все переглянулись и, как-то странно гримасничая, закивали друг другу. Кто-то передразнил ее, с издевкой сказав другому: «Она просто проходила мимо!» Тот повторил погромче, и через несколько секунд уже все они наперебой принялись выкрикивать: «Она проходила мимо! Мимо! Она просто проходила мимо!»

Ошарашенная, Вероника застыла на месте от страха. Один из санитаров — крепкий мрачный детина — подошел узнать, что происходит.

— Ничего, — ответил кто-то из компании. — *Она просто проходила мимо.* Вот она стоит как вкопанная, но на самом деле проходит мимо!

Вся компания разразилась хохотом. Вероника криво улыбнулась, попытавшись изобразить независимый вид, повернулась и отошла, чтобы никто не успел заметить, что глаза ее полны слез. Забыв о куртке, она вышла прямо в заснеженный сад. За нею увязался было какой-то санитар, чтобы заставить вернуться, но затем появился другой, что-то прошептал, и они исчезли, оставив ее в покое — коченеть на холоде.

Надо ли так уж заботиться о здоровье того, кто обречен?

Вероника чувствовала, что вся охвачена смятением, гневом, злостью на саму себя. Впервые она так глупо попала, притом что всегда избегала провокаций, с ранних лет научившись сохранять хладнокровие, невозмутимо выжидая, пока изменятся обстоятельства. Однако этим умалишенным удалось вывести ее из равновесия, удалось вовлечь в свою подлую игру, когда ее просто захлестнули стыд, страх, гнев, желание растерзать их, уничтожить такими словами, которые даже сейчас язык не поворачивался вымолвить.

Вероятно, то ли таблетки, то ли лечение, которое она проходила для выхода из комы, превратили ее в слабое существо, неспособное постоять за себя. Ведь еще подростком ей случалось с достоинством выходить и не из таких ситуаций, а вот теперь впервые она попросту не могла сдержать слез. Какое унижение! Нет, надо снова стать собой, способной иронически высмеять любого обидчика, сильной, знающей, что она лучше и выше их всех. Кто из этих людишек отважился бы, как она, бросить вызов смерти? Как у них хватает наглости ее учить, если сами они упрятаны в психушку? Да теперь она скорее умрет, чем обратится к кому-нибудь за помощью, пусть даже на самом деле ждать смерти еще почти неделю.

Один день уже сброшен со счета. Осталось каких-нибудь четыре-пять.

Она брела по тропинке, трезвея от холода, чувствуя, как он пробирает до костей и понемногу успокаивается в жилах кровь, уже не так колотится сердце.

Какой позор: я в Виллете, часы мои буквально сочтены, а я придаю значение словам каких-то идиотов, которых вижу впервые и вскоре не увижу никогда. Однако я на них реагирую, я теряю самообладание, во мне просыпается желание и самой нападать, бороться, защищаться. На такую ерунду — тратить драгоценное время!

Так стоит ли тратить силы на борьбу за свое место в этой чужой, враждебной среде, где тебя вынуждают сопротивляться, если ты не хочешь жить по чужим правилам?

Невероятно. Я ведь никогда такой не была. Я никогда не растрчивалась на глупости.

Внезапно она остановилась посреди морозного сада. Не потому ли, что пустяками ей до сих пор казалось все, в конце концов ей и пришлось пожинать плоды того, к чему приводит жизнь, полная пустяков. В юности ей казалось, что делать выбор слишком рано. Теперь, став старше,

она убедилась, что изменить что-либо слишком поздно.

И на что же, если подумать, уходили до сих пор ее силы? Она старалась, чтобы все в жизни шло привычным образом. Она пожертвовала многими своими желаниями ради того, чтобы родители продолжали любить ее, как любили в детстве, хотя и знала, что подлинная любовь меняется со временем, растет, открывая новые способы самовыражения. Однажды, услышав, как мать, плача, говорила ей, что ее браку пришел конец, Вероника отправилась на поиски отца, рыдала, угрожала и наконец вымолила у него обещание, что он никогда не уйдет из дома, даже не представляя себе, какую непомерную цену ее родителям придется за это заплатить.

Решив найти себе работу, она отвергла заманчивое предложение компании, обосновавшейся в Любляне сразу после объявления Словенией независимости, и устроилась в публичную библиотеку, где оклад пусть и небольшой, зато гарантированный. Изо дня в день она ходила на работу по одному и тому же графику, ладила с начальством, оставаясь по возможности незаметной. Ее это устраивало. Она и не пыталась бороться, даже не помышляя о какой-либо карьере: единственное, чего она желала, — это регулярно получать в конце месяца свое жалованье.

Комнату она сняла при монастыре, поскольку монахини требовали, чтобы все жильцы возвращались в установленное время, — а потом запирали дверь на ключ. И кто оставался за дверью, должен был спать хоть на улице. Так что у нее всегда была правдивая отговорка для любовников, когда не хотелось проводить ночь в гостинице или в чужой постели.

В редких мечтах о замужестве она рисовала себе небольшую виллу под Любляной, спокойную жизнь с кем-нибудь, кто, в отличие от ее отца, будет зарабатывать достаточно, чтобы содержать семью, и будет доволен уже тем, что вот они сидят вдвоем у горящего камина, глядя на горы, укрытые снегом.

Она научилась доставлять мужчинам строго отмеренную дозу удовольствия — ни больше ни меньше, а ровно столько, сколько необходимо. Она ни на кого не сердилась, ведь это означало бы необходимость как-то реагировать, бороться со своим обидчиком, а затем того и гляди сталкиваться с какими-нибудь непредвиденными последствиями вроде мести.

И когда все устроилось почти в полном соответствии ее бесхитростным запросам, обнаружилось, что такая жизнь, где все дни одинаковы, попросту лишена смысла.

И Вероника решила умереть.

Вероника вернулась, закрыла за собой дверь и направилась к той же обособившейся компании. В группе оживленно беседовали, но, как только она подошла, воцарилось напряженное молчание.

Твердым шагом она подошла прямо к тому пожилому, которого считала у них лидером, и, не успев никто опомниться, с размаху влепила ему пощечину.

— Ну как, понравилось? — спросила она во весь голос, на весь холл, чтобы слышно было каждому. — Может, дадите сдачи?

— Нет. — Мужчина провел ладонью по лицу, утирая текущую из носа тоненькую струйку крови. — Вам недолго осталось нас здесь беспокоить.

Она вышла из холла и с торжествующим видом направилась в свою палату. Она сделала нечто такое, чего никогда еще не делала в своей жизни.

Прошло три дня после инцидента с группой, которую Зедка называла Братством. Вероника сожалела о пощечине — не из страха перед какой-то мстью со стороны мужчины, а потому, что сделала нечто ей несвойственное. Если вот так увлекаться, то, чего доброго, можно прийти к

выводу, что стоит продолжать жить дальше, а это принесет новую бессмысленную боль, поскольку вскоре — хочешь не хочешь — придется покинуть этот мир.

Единственным выходом сейчас было замкнуться в себе, уйти от людей, от всего мира, чтобы любой ценой остаться прежней, внешне полностью подчиняясь режиму и правилам Виллете. Вероника вскоре вжилась в обычный распорядок лечебного заведения: ранний подъем, завтрак, прогулка в саду, обед, бездельничанье в холле, снова прогулка, ужин, час-полтора у телевизора, отбой.

Перед отбоем всегда появлялась медсестра с лекарствами. Всем в палате раздавались таблетки, только Веронике делали укол. Укол она принимала безропотно, только однажды спросила, зачем ей столько успокоительного, если на сон никаких жалоб нет. Оказалось, что это не снотворное; для инъекций ей предписано средство, поддерживающее сердечную деятельность.

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)